



## **В. Б. МИКУШЕВИЧ**

### **Отродье кошки и кобылы**

Многие годы, а особенно в последние дни его жизни, над Максимилианом Волошиным тяготело загадочное подозрение. Отчасти оно объяснялось тем неуловимым в существе Волошина, что чувствовали все и в чем сам Волошин никогда не признавался при всей своей благодушной откровенности и дружелюбии. Марина Цветаева писала в своих воспоминаниях: «Живое о живом»: «Это был — скрытый мистик, то есть истый мистик, тайный ученик тайного учения о тайном. <...> Эта его сущность, действительно, зарыта вместе с ним. И может быть, когда-нибудь там, на коктебельской горе, где он лежит, еще окажется — неизвестно кем положенная — мантия розенкрейцеров». Мало ли что может оказаться на горе, где лежит Волошин. Не о всяком покойнике скажут, что он лежит не в могиле, а на горе. Но если он был посвящённый, наш пытливый, охочий до всяких признаний и дознаний век непременно осведомится, во что такое он был посвящен и что означает мантия розенкрейцеров на могиле. Характерно, что Корней Чуковский в своём дневнике пишет о Волошине примерно то же самое, но, в отличие от Марины Цветаевой, с плохо скрытой неприязнью (от кого скрывает он её? От себя самого?): «Человек он очень милый, но декоративный, не простой, вечно с каким-то театральным расчетом, без той верхней чуткости, которую я люблю в Чехове, Блоке и нескольких женщинах. Живёт он хозяином, магнатом, и походка у него царственная, и далеко не так бесхозяйствен, как кажется. Он очень практичен — но мил, умен, уютен и талантлив». Таковы два полюса восприятия, две точки зрения на Максимилиана Волошина, противоположные, но в чём-то совпадающие. С особым раздражением Корней Чуковский воспринимает то, чем, казалось бы, можно было восхищаться: «Хотите, я расскажу вам о революции в Крыму?» — и рассказывает, как он, Макс, спасал большевистского генерала Маркса от расстрела...» Можно подумать, будто Чуковский предпочёл бы, чтобы большевистского генерала

расстреляли белые, хотя, вернее всего, ему надоели рассказы о миротворчестве Макса, но ведь не надождали же современникам и до сих пор не надоели рассказы о красном и белом терроре. Через шесть лет Максимилиан Волошин напишет:

И красный вождь, и белый офицер —  
Фанатики непримиримых вер —  
Искали здесь, под кровлею поэта,  
Убежища, защиты и совета.

Эти стихи кое-кто запомнил наизусть, а современников преследовал молчаливый вопрос, как это удавалось Максиму и почему он сам не был расстрелян красными или белыми. «Молюсь за тех и за других», — писал Макс в ту пору, но ведь известно: того, кто молится за тех и за других, начинают ненавидеть и те и другие. В лучшем случае они сторонятся его, как сторонились Волошина его же многочисленные гости. В 1936 году Георгий Шенгели напишет опять-таки то же самое:

И он прошел — легендой и загадкой,  
Любимый всеми и всегда один  
В своем спокойном и большом сиротстве.

Но само сиротство его вызывало подозрения, ибо к началу тридцатых годов опять усилились толки, никогда не стихавшие, но и никогда не высказывавшиеся во всеуслышанье: толки о всаднике или даже о всадниках, которых видели на Карадаге, и о следах конских копыт, ведущих к дому Волошина.

Были все основания полагать, что в окрестностях Коктебеля готовится белогвардейский или кулацкий мятеж, а Волошин опять кого-то прячет. Чуковский не решался написать этого даже в своем дневнике, но, похоже, в глубине души полагал, что любого другого на месте Макса давно арестовали бы чекисты, и чёрт знает, почему они его не арестовывают. Вероятно, сами чекисты затруднились бы ответить на этот вопрос. По всей вероятности, Макс спас и кого-то из них в своем доме, но мало ли кто кого спас, а сам не спасся. Тем не менее ему что-то явно зачлось, а подозрения усугублялись, пока он не умер, и даже после его смерти.

Конного на Карадаге видели многие в годы усобицы, цивилизованно называемой гражданской войной. Не иначе как это был разведчик. Белые подозревали красных, красные подозревали белых, а всадник исчезал бы бесследно, если бы не конские следы, ведущие в Коктебель к дому поэта.

Впрочем, для старожилов явление конного на восточном берегу Крыма не было новостью. Конного видели там с тех пор, как берег начал заселяться, и судя по всему, он появлялся там и до этого. Видели его всегда издали, никто не видел его вблизи. Но не исключено, что и заповедником-то во второй половине двадцатого века Карадаг был объявлен под влиянием смутных пересудов об этом конном.

О нём слышали и до Рождества Христова, что подтверждается некоторыми источниками как бы нехотя. Когда во Храме Иерусалимском строилась Святая Святых, запрещено было тесать камни железом. И царь Соломон повелел привести к нему некоего зверя, по имени Китоврас, обитавшего в пустынных местах и знающего, как тесать камни без железа. Ни одному человеку не удавалось изловить Китовраса. Апокриф повествует, что царь Соломон проведал тайну Китовраса и велел налить вина и мёду в три колодца, из которых Китоврас пил, а когда Китоврас, напившись, захмелел, Соломоновы слуги сковали его цепью. На цепи было написано имя Божье, и скованный Китоврас кротко пошел в Иерусалим, но мог он ходить лишь прямым путем, не сворачивая, и на пути его в городе сносили дома. Бедная вдова выбежала зверю навстречу, умоляя пощадить её дом, и Китоврас прошел мимо, изогнувшись так, что сломал себе ребро. Увидев, как на базаре человек спрашивает себе такие сапоги, чтобы семь лет не сносились, Китоврас засмеялся, увидев гадалщика, тоже засмеялся, а увидев свадьбу, заплакал. Оказалось, что покупающий себе сапоги не проживет и семи дней, жених после свадьбы не проживет тридцати дней, а у гадалщика же под ногами зарыт сундук с золотом, о чём гадалщик не подозревает. Когда Китовраса привели в царский дворец, Соломон спросил его, как построить Святая Святых, не обтёсывая камней железом, и Китоврас поведал ему, что на горе гнездится птица Кокот. Следует накрыть стеклом гнездо с птенцами, и тогда птица принесёт то, что нужно. Гнездо накрыли стеклом, и птица принесла камень шамир (алмаз). Рассказывают, что царь Соломон пожелал испытать силу Китовраса, и тот, когда с него сняли цепь, запечатлённую именем Божиим, взмахнул крылом и забросил Соломона на край земли, где царя едва отыскали, и с тех пор, когда наступала ночь, Соломон испытывал страх перед Китоврасом и царское ложе охраняли шестьдесят воинов с обнаженными мечами.

Согласно русскому книжнику Ефросину, царь Соломон знал, что зверь Китоврас — его родной брат, сын Давидов. Когда царь Давид слагал свои псалмы, ему мешало кваканье жаб в соседнем болоте, и царь Давид распорядился перебить их, но на свитке псалмов увидел жабу, и она сказала ему человеческим языком: «Почему ты запрещаешь нам прославлять Господа по-своему, как ты сам Его прославляешь?»

И Давид сказал в ответ: «Всякое дыхание да славит Господа». Эту вещую жабу на Руси называли Василисой Премудрой, Василиса же значит «Царственная». Царь Давид узнал её в женщине, купавшейся в пруду. Царь послал на смерть её мужа, чтобы взять её в жены, и она родила ему Соломона, но первенец её по преданию умер, и если Китоврас — родной брат Соломона, он мог быть только этим первенцем, о котором сказали, что он умер, так как он родился зверем за родительский грех.

Имя «Китоврас» происходит от греческого «кентаврас», родственного индийскому «гандхарва». У кентавра человеческая голова и человеческий торс, он человек до пояса, но у него конский круп и ноги с копытами. Таким родился сын океаниды Филюры и бога Крона, мудрый кентавр Хирон. В западных легендах повествуется: после Рождества Христова кентавры выходили из лесов, просили христианских отшельников крестить их, и отшельники не отказывали им. Апостол Павел писал: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится донныне: и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» (Рим 8: 22–23). В этих словах апостола нетрудно распознать слово царя Давида: «Всякое дыхание да славит Господа».

В имени «Китоврас» распознается также «кит»: водная стихия океаниды Филюры и царевны-лягушки. Некое чудище обняло однажды царевну, купавшуюся в море, и от этой царевны происходит единственный в мире истинный царский род, ведущийся от семени Давидова. Из этого рода происходил Рюрик, предок русских царей. Максимилиан Волошин назвал Романовых «отродье Кошки и Кобылы» в стихотворении «Китеж», а в слове Китеж слышится «кит» и, стало быть, Китоврас. Боярин Федор Кошка, пятый сын Андрея Ивановича Кобылы — родоначальник Романовых. Эту строку Волошина рассматривают обычно как чуть ли не кощунственный, антимонархический выпад, но кошка окотилась однажды на ещё не остывшей постели, где спал Макс, что вызвало у его супруги Марии Степановны приступ гнева, называемый домашними «термидор», а термидором завершилась французская революция, то есть цареубийство. Мария Степановна велела утопить котят мальчику Лёне (Леониду Домрачёву, передавшему весь эпизод в своих воспоминаниях), а гостившая в Коктебеле Татьяна Руфовна Златогорова, жена известного бактериолога, поймала мальчика, — норовившего убежать, чтобы не быть палачом, — и напомнила ему, что он в будущем воин, ему всё равно придется убивать, так пусть начинает с котят. И мальчик запаковал котят, поплыл с ними в море, бережно держа сверток, чтобы не замочить, а потом нырнул, положил его на дно, но со дна всплыл один слепой котенок, ставший потом любимой кошкой Марии Степановны («отродье Кошки»). Что же касается

Кобылы, то слово это традиционно означает знатнейший род (отсюда испанское «кабальеро» и французское «шевалье»). Соотносится оно и со словом «каббала», означая древнейшую таинственную мудрость, причем такая «кабала» пишется с одним «б», прямо восходя к латинскому «caballus» — «лошадь»<sup>1</sup>.

В этом смысле сам Волошин признавался, что он кобыльего рода: «Я духом Бог, я телом конь». Кентавра узнавали в Максимилиане Волошине современники и прямо писали об этом. Так польский писатель Вацлав Рогович писал по поводу скульптурного портрета, изваянного Виттигом: «А тот, кто знал модель — этого прирученного кентавра с голубиной душой, в котором есть что-то и от послушника греческого монастыря на горе Афон и от старославянского князя; русского, страстно влюблённого во фламандских мистиков, который написал цикл “Руанский собор”, полный лиловых красок католической символики; этого жителя древней Киммерии, пустынного приазовского Крыма, открывающего на русском языке таких изысканных поэтов, как Верхарн, Эредиа или Анри де Ренье, — кто знал его хорошо, тот поверит Виттигу: он попал в точку, так сделав портрет такого поэта». Как бы невзначай мемуарист упоминает древнегреческую, геродотовскую голову, голову человека золотого века, тех доисторических времен, когда «королевы ходили по воду (подчеркнуто мною. — В. М.)». И сам Волошин проговаривает, проговаривается:

Как горек вкус земного лавра...  
 Родэн навеки заковал  
 В полубезумный жест Кентавра  
 Несовместимость двух начал...  
 Но мы, свободные кентавры,  
 Мы мудрый и бессмертный род,  
 В иные дни у берега вод  
 Ласкались к нам ихтиозавры.

Кто знает, посети Волошин берег озера Лох-Несс, не начнёт ли ласкаться к нему Несси, а может быть, киммерийский Кит — Кентавр и посещает озеро, и она ласкается. И у Коктебельской бухты, где голубые камни, могут быть свои тайны, как у блоковского пруда в подмосковном Боблове, где всплывают обломки кораблей, затонувших в океане (пруд — «отдушина океана», как писал Блок в своей статье «Стихия и культура»). А Волошин закончил поэтическое письмо к своей невесте Маргарите Сабашниковой (Аморе) строками:

И мир мельчал. Но мы росли.  
 В нас бег планет. В нас мысль земли.

Марина Цветаева писала о скрытности мистика Макса. Но невозможно выразиться откровеннее: мы — кентавры. На Западе говорили сначала о теософии, потом об антропософии. С антропософией связывали как раз Волошина, а он всем существом своим, в котором видна была «несовместимость двух начал», представлял мысль земли: кентавро-софию, мудрость Китовраса.

Эту мысль земли, «самотайну» Волошина учуяла Марина Цветаева, сама «дщерь, выношенная во чреве не материнском, а морском»: «Макс был настоящим чадом, порождением, исчадием земли. Раскрылась земля и породила: такого, совсем готового, огромного гнома, дремучего великана, немножко быка, немножко бога, на коренастых, точеных, как кегли, как сталь упругих, как столбы устойчивых ногах, с аквамаринами вместо глаз, с дремучим лесом вместо волос, и всеми морскими и земными солями в крови («А ты знаешь, Марина, что наша кровь — это древнее море...»). То же самое подмечает такой далекий от Марины Цветаевой, но такой зоркий Бунин: «Он был невысок ростом, очень плотен, с широкими и прямыми плечами, с маленькими руками и ногами, с короткой шеей, с большой головой, темно-рус, кудряв и бородат: из всего этого он, невзирая на пенсне, ловко сделал нечто живописное на манер русского мужика и античного грека, что-то бычье и вместе с тем круторого-баранье». Конское, бычье, баранье... Ко всему этому присоединяется еще и медвежье. Леонид Домрачёв вспоминает: «Для нас с сестрой тетя Маруся попросила Макса станцевать танец Медведя». Имя короля Артура по-кельтски означает «медведь», а предок его — морской (опять-таки) бог Лер (возможно, король Лир его соименник), а сын бога Лера Маннанан — всадник, скачущий по волнам (кентавр?). Не такие ли кентавры участвовали в русской усобице, именуемой почему-то гражданской войной (разве граждане воюют друг против друга?). Не в себя ли самого стрелял есаул Николай Туроверов, когда «с кормы все время мимо в своего стрелял коня»? Он стрелял мимо, потому что знал: он и его конь — одно («сколько раз одной могилы ожидали мы в бою»). А денщик не знал этого и потому «стрелял не мимо». Не в киммерийского ли царя Кентавра метил при этом денщик?

Царь Соломон боялся своего брата Китовраса, потому что днём тот принимал человеческий образ, а ночью в зверином образе был царем над зверями. Максимилиан Волошин связывал медвежье в своём образе с Серафимом Саровским:

Раз пришла монахиня и видит:  
Серафим сидит на пне и кормит  
Сухарями серого медведя.

Волошин повторяет за Серафимом:  
Не рабом, а братом человеку  
Создан зверь. Он приклонился долу,  
Дабы людям дать подняться к Богу.

Так говорил не Заратустра, а Китоврас. Дева Мария говорит о Серафиме: «Сей есть рода Нашего». А в поэме Волошина сказано:

Предстоит пред Девкою Пречистой  
Серафим.  
И Серафиму Дева  
Молвит:  
Мой любимиче! Погасни  
В человеках. Воплотись. Сожги  
Плоть Земли сжигающей любовью.

Бунин с иронией, но не только с иронией, рассказывает о Волошине: «Он, антропософ, уверяет, будто «люди суть ангелы десятого круга», которые приняли на себя облик людей вместе со всеми их грехами, так что всегда надо помнить, что в каждом самом худшем человеке сокрыт ангел».

Известно, как любил Волошин вылавливать в море куски дерева, имеющие тот или иной образ. Он называл их габриахами и собрал целую коллекцию. Об одном из них Волошин рассказывает: «Он был выточен волнами из корня виноградной лозы и имел одну руку, одну ногу и собачью морду с добродушным выражением лица. Он жил у меня в кабинете, на полке с французскими поэтами вместе со своей сестрой, девушкой без головы, но с распущенными волосами, также выточенной из виноградного корня, до тех пор, пока не был подарен мною Лиле». Елизавета Ивановна Дмитриева была хромою от рождения, и, казалось бы, только в этом её сходство с морским Габриаком и его сестрой, но сама Лиля, играющая главную роль в истории Черубины де Габриак, подозревала нечто иное. «Ей всё казалось, что она должна встретить живую Черубину, которая спросит у неё ответа». Китоврас был пойман потому, что его тайну выдала его жена, которую Китоврас прятал в своем ухе. Не эта ли неверная жена Китовраса — живая Черубина? И не поплатилась ли Елизавета Дмитриева своей последующей судьбой за свое самозванство: «И вот с тех пор я жила не живой; шла дальше, падала, причиняла боль, и каждое моё прикосновение было ядом». Так становится понятно, чей образ вылавливал Волошин в море, то есть в своей собственной древней крови.

У этого древнего моря Максимилиан Волошин построил себе дом, о котором писал:

В те дни мой дом — слепой и запустелый —  
Хранил права убежища, как храм.

Но права убежища хранил Иерусалимский Храм, потому что в нём была Святая Святых, а Святая Святых не была бы построена, по преданию, если бы не Китоврас. «Всей грудью к морю, прямо на восток, обращена, как церковь, мастерская», — говорит Волошин. Теперь уже трудно сказать, сколько людей спаслось благодаря этой церкви, но по дневнику Корнея Чуковского видно, что подобная роль Волошина озадачивала современников и даже вызывала что-то вроде осуждения. Тайна настораживает. Сколько людей тянулось к Максимилиану Волошину, а не сблизился с ним никто. От сближения с ним удерживало нечто не совсем человеческое: ангельское... стихийное... звериное...

<...>

Кентавр Хирон окружен учениками-героями. Среди них Актеон, Язон, будущий бог врачевания Асклепий. И в этом кентавр Хирон явно подобен Максимилиану Волошину, всегда окруженному людьми, правда, практически никто из них, сформированных его могучим влиянием, не отважился назвать себя его учеником. Ведь Макс отнюдь не походил на педанта-наставника. Он был *homo ludens*, человек играющий, как назвал его Столович. Бахтин мог бы назвать Волошина гением карнавальной культуры. А что за карнавал без кентавра? Кентавра Хирона нечаянно ранил отравленной стрелой Геракл, и Хирон добровольно сошел в Аид (сошествие во ад?). Макс показывал Марине Цветаевой вход в Аид за несколько миль от Коктебеля: «В Аид, Марина, нужно входить одному». Даниил Андреев начинает свое стихотворение «Памяти М. А. Волошина» строкой: «Любимый холм — его надгробный храм...» Опять-таки храм, который не мог быть построен без Китовраса. Думали, что могилу на любимом холме Волошина не выроешь, там скала; в два часа ночи на холме загорелся костер, возвещающий, что могила вырыта. И теперь по ночам на Карадаге слышится цоканье копыт, а иногда и виден кентавр. И можно предположить: когда он виден, могила Волошина на его любимом холме пуста.

<1997 г.>

